

«ХРИСТОС ВНЕ ИСТИНЫ» В ТВОРЧЕСТВЕ ДОСТОЕВСКОГО

Наиболее распространенным подзаголовком при постановке тем, гораздо более скромных по масштабу и значению, чем заявленная здесь, обычно служит что-нибудь вроде «к постановке вопроса». Однако по отношению к данной теме такой подзаголовок давно не актуален. Пожалуй, уже можно, благодаря обилию замечательных работ, появившихся за последние несколько лет (и несколькими более ранним работам), указать в качестве подзаголовка: «подведение итогов».

В том, что я собираюсь сказать, не будет, по сути, ничего нового. Если внимательно прочитать работы Г. А. Федорова «„Се человек” Яна Мостарта», Д. Л. Соркиной «Об одном из источников образа Льва Николаевича Мышкина», И. А. Кирилловой «К проблеме создания хриstopодобного образа (Князь Мышкин и Авдий Каллистратов)», Н. Ф. Будановой «Достоевский о Христе и истине», Б. Н. Тихомирова «О „христологии” Достоевского», Л. А. Левиной «Некаяющаяся Магдалина, или почему князь Мышкин не мог спасти Настасью Филипповну», А. Столярова «Был ли у Достоевского свой особый „символ веры”?» и мои работы, посвященные роману «Идиот», то вся довольно пестрая мозаика подходов и находок сложится, с некоторой неизбежностью, в заключение, которое я и хочу вам представить.

Сформулированное максимально кратко, оно будет звучать следующим образом: «Роман „Идиот” был попыткой Достоевского остаться со Христом вне истины».

Несколько лет назад я не без дерзости, но и не без оснований писала о том, что в романе «Идиот» не определен еще даже проблемный центр. Сейчас на этот «проблемный центр» можно буквально указать пальцем. Это так называемый «Мертвый Христос», копия картины Ганса Гольбейна, висящая в доме Рогожина. Это и есть «Христос вне истины».

Все помнят так называемый «символ веры» Достоевского из его в высшей степени странного письма к весьма необычной корреспондентке: «Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины,

и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» (28, I; 176).

Тонкий исследователь, Б. Н. Тихомиров отмечает, что, «в так сформулированном *credo* Достоевского еще отсутствует специфически религиозный момент» (исследователь имеет в виду первую часть высказывания)¹.

Действительно, в этом описании («ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее») нет ни одного определения, выводящего Христа за те пределы, в которых может быть описан «вполне прекрасный человек». Именно поэтому и возможна вторая часть «символа веры», противопоставляющая истину и Христа. О том, что Христос вне истины — это Христос вне своей божественной сущности, вне бессмертия, с очевидностью свидетельствуют строки романа «Бесы»: «Слушай большую идею: был на земле один день, и в середине земли стояли три креста. Один на кресте до того веровал, что сказал другому: „Будешь сегодня со мной в раю“. Кончился день, оба померли, пошли и не нашли ни рая, ни Воскресения. Не оправдывалось сказанное. <...> законы природы не пожалели и *Этого*, даже чудо свое же не пожалели, а заставили и *Его* жить среди лжи и умереть за ложь <...>» (10; 471). Ложь, за которую умер Христос, согласно Кириллову, и заключается в словах: «Будешь сегодня со мною в раю», — в словах, провозглашающих Божественную природу Христа и восстановленное им Богосыновство человека, отвергнутое самим человеком совершением «первородного греха»; в словах, провозглашающих вновь дарованное человеку бессмертие в истине («в раю») и освобождение из лжи — смерти и ада.

Если эти слова — ложь, если Христос — вне истины, то есть — вне бессмертия (ср. у Достоевского: «Высшая идея на земле *лишь одна* и именно — идея о бессмертии души человеческой» (24; 48)), если он лишь «вполне прекрасный человек», то, заключает Кириллов, «вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. Стало быть, самые законы планеты ложь и диаволов водевиль» (10, 471).

Это заключение Кириллова, провозглашенное в романе «Бесы», выжито и выстрадано в романе «Идиот».

«Я скажу Вам про себя, — пишет Достоевский в том же письме к Н. Д. Фонвизиной, — что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных» (28, I; 176).

Каких страшных мучений стоила ему эта жажда — можно увидеть воочию в тот момент жизни, когда само Провидение поставило его на краю, заставив заглянуть в бездну — в бездну собственного сомнения и отторжения от Господа. И это в тот миг, когда вера была наиболее необходима. Приговоренного к смертной казни, на пороге смерти — сомнения одолевают его.

Воспоминания С. Д. Яновского дают представление о том, как относился Достоевский к Н. А. Спешневу. Он его не любил и от него зависел — сочетание, доводившее Достоевского до болезни. На плацу был священник, но не к нему обращает Достоевский свой вопрос-утверждение, после которого надо бы поставить два восклицательных знака и потом один вопросительный: «Мы будем там со Христом (!!?)»² Он обращает его к Спешневу, догадываясь об ответе. Рискну сказать — нуждаясь в нем, ибо, описывая свои последние, расчисленные минуты, говоря о том, что в луче, играющем на куполе колокольни, виделся ему прообраз его новой природы (см.: 8; 52), с неожиданным напором признается он в *сильнейшем отвращении* своем от этой новой природы. «Горстью праха!»³ — ответит ему Спешнев, как бы персонифицировав его неверие и сомнения.

Время вопрошающему было продлено. Но эти «пять минут» стали прообразом всей его последующей жизни. До «помилования» прошло тридцать лет, посвященных опровержению метафизической насмешки Спешнева. Расчислив там время так, как расчислил его Достоевский на Семеновском плацу, можно сказать, что роман «Идиот» — это последнее вопрошание его (столь же отчаянное): «Мы будем там со Христом!!?» А роман «Бесы» — ответ Спешнева: «Горстью праха!», — но этот ответ уже угрожает осуществлением лишь самому отвечающему.

Для того чтобы ответ Спешнева стал не страшен, должен был быть решен вопрос о возможности существования «Христа вне истины». Этот вопрос и решает Достоевский, изображая «вполне прекрасного человека».

Многочратно отмечалось влияние книги Ренана на создание образа Мышкина. В комментариях к роману в Полном собрании сочинений читаем: «При некоторых совпадениях с Ренаном столь же очевидны <...> принципиальные расхождения писателя с автором „Жизни Иисуса“. <...> С первых месяцев работы над окончательной редакцией многократно планировались высказывания Мышкина о Христе <...> которые содержали полемику с концепцией французского автора. <...> В окончательную редакцию прямые упоминания о „Жизни Иисуса“ не вошли»(9; 398). Надо бы к этому прибавить, что и «высказывания Мышкина о Христе» исчезли из окончательной редакции. Poleмика в окончательный текст не вошла, потому что он *весь* стал полемикой и опровержением идеи Ренана. Высказываний Мышкина о Христе не понадобилось, потому что сам его образ стал опровержением ренановского Христа. Нужно ли напоминать, что идеей Ренана было представить Христа только и исключительно человеком? Poleмика с Ренаном, возможно, не вошла в окончательный текст и еще по одной причине: дело в том, что идея Ренана не представляла ничего оригинального в западной культуре, со времен Ренессанса (но — и ранее тоже) активно

разрабатывавшей тему крестных мук и смерти Спасителя исключительно в аспекте Его человеческой природы. Арианство было преодолено, но спустя несколько веков дало обильные всходы, захватившие в конце концов все пространство западной культуры.

«Год назад в Кельне проходила странная выставка с названием „Небо, чистилище и ад”, — начинает свою статью Александр Столяров. — Из разных музеев Европы, в основном из Швейцарии, были представлены миниатюры, картины, скульптуры, надгробные плиты, вещи культа и быта XIII–XVII вв. Потрясение от увиденного было сильным. „Неба” или „рая”, увы, на выставке был маленький краешек, полоска у горизонта.

„Чистилище” оказалось обширнее „Рая”, но было крайне непривлекательным, напоминавшим толпы, устремленные к единственному выходу. Зато „Смерть” и „Ад”, ей сопутствующий, демонстрировали захватывающую реальность апокалипсического символа: одного из четырех всадников, смерть на коне „бледном”, и чудовищный ад, бредущий за ним; они как будто стали „зоном” последних времен, и шествуют по сворачивающейся в свиток земле, собирая свой богатый урожай. Миниатюра „Смерть над миром”, сжимающая своими костяшками вместо скипетра пресловутую косу, обобщала увиденное и заставляла христианина вопрошать: „Почему же смерть, а не Христос царствует над миром?...” „Примерами” назидали и надгробные плиты, небольшие шкатулки, вырезанные из кости, — с изображениями мертвецов, трупов разной степени разложения; над ними лихорадочно трудились черви, по ним ползали жабы, гады, другие фантастические существа подземного мира, подвергающие тела „изысканному” гниению. В ужас приводили куклы-скульптуры (вещи XV века из Базеля) с бесовскими, птичьими и ослиными головами <...> Изображения Христа на таком фоне смотрелись бледно, невыразительно, как будто Спаситель не Победитель ада и смерти, не Лев вселенной, а дистрофическое существо с большой головой и страшной мертвенностью всего облика <...> приходило на ум: уж не слишком ли большой плацдарм отдан смерти? И почему выходцы с того света занимают так много места, потеснив не только живых, но и Того, Кому „преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних” (Фил. 2: 10)? Казалось, если наступит День Господень, если сюда донесется пасхальное пение и глас Архангеловой трубы, если лучи Божественного света упадут на эти иероглифы смерти, рассеивая ее гипноз, — отклика не последует: все так и останется в молчаливом оцепенении, в египетской неподвижности.

Вот и вспомнились тогда размышления Достоевского над картиной Гольбейна Младшего „Мертвый Христос”.

Вся кельнская выставка была, в сущности, одним собирательным образом „мертвого Христа”⁴.

Нужно ли специально обращать внимание на то, что именно в Швейцарии и под впечатлением от Швейцарии пишется роман, что из Швейцарии приходит на русскую землю князь-Христос?

Характерно, что, если судить по «срезу» непосредственных откликов на роман, который дается в Полном собрании сочинений, русские критики «Христа» в Мышкине не опознали. Чуть ли не самым «сильным» было высказывание П. Н. Полевого: «В полусумасшедших, идиотах, чудаках автор находит „искру Божию”» (9; 418). В то же время уже первые рецензии на французский перевод характеризовали Мышкина как «святого», «почти Христа» (см.: 9; 420). Все это с редкой наглядностью демонстрирует давно отмеченную ориентацию западной культуры на «воплощение», на «Рождество», в конечном итоге — на человеческую природу Христа. Этой ориентации вполне соответствует основное убеждение князя, сформулированное в черновых записях: «Сострадание — все христианство» (9; 395). В то время как для русской культуры, даже если ее представители уже далеки от православных традиций и миропонимания, все же остается ощущение, что христианство — это нечто совсем иное. Ориентация культуры на Пасху, на Воскресение, на Вознесение предполагает не сочувствие и сожаление по отношению к падшему, но *уверенность* в всегда остающейся возможности его восстановления во всей славе. Память о своем богосыновстве, восстановленном Христом, делает верующего дерзновенным, и это дерзновение одобрил Христос, сказав: «Дерзай, дочь! вера твоя спасла тебя» (Лк. 8: 48). Мораль не становится самодовлеющей и подавляющей, но, значит, и сочувствия и сострадания вовсе не недостаточно.

Все это, пожалуй, несколько объясняет, почему князю удалась его миссия в Швейцарии и совсем не удалась в России. В культуре, ориентированной на человеческую природу Христа, «сострадание — все христианство», и сострадание и милость к «падшей», полностью убежденной, что она пала безвозвратно и что ей нет прощения, становятся основой «христианской общины» князя и детей. Эта община строится на основе человечнейших — но и человеческих! — чувств, и «невинная жертва» — Мари — закладывается в ее фундамент. Их теперь навсегда свяжет любовь к умершей, чувство к которой — в силу самой ее смерти — уже не может измениться. Рассказ о Мышкине в Швейцарии вполне мог бы быть эпизодом из «Жизни Иисуса» Ренана или Штрауса.

Но уже в этот рассказ закладывается Достоевским «мина», которая потом и взорвет все здание.

«...Вот в этом в одном, во всю тамошнюю жизнь, я и обманул их» (9; 61), — скажет он о детях. Но «это одно» — было его любовью к Мари. Князь обманывает любовью, но Христос есть Любовь. Не слишком ли это похоже на желание остаться со Христом вне истины, в то время, как Он есть Истина?

Ренановский Иисус, Иисус «вне истины» оказывается абсолютно невозможен в России: в силу уже указанной ориентации на Воскресение — то есть прощение и исцеление, а не на сострадание и убеждение в невиновности. Именно это и предлагается князю — простить грехи грешнице и исцелить безнадежно больного. Но простить грехи может только тот, кто способен и исцелить: «И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои. При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он богохульствует. Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: „прощаются тебе грехи“, или сказать: „встань и ходи“? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи.— тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он встал, *взял постель свою* и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам» (Мф. 9: 2–8).

Достоевский показывает лживость книг, подобных ренановой, просто ходом своего романа. Если бы Провозгласивший достоинство человека и его Богосыновство, достоинство в Богосыновстве, не мог дать ничего, кроме сострадания, Новый Завет должен был бы походить на роман «Идиот», а вовсе не на книгу Ренана. Вернее, не было бы никакого Нового Завета, ибо не из чего было бы возникнуть христианству.

Видно, чем бы обернулись для Христа все исцеленные им больные, все прощенные грешницы: первых ему пришлось бы таскать на себе, а вторых — не прощать, тем воскрешая, но «реабилитировать» — словечко, постоянно встречающееся в черновиках к «Идиоту», то есть — оправдывать; а мы сейчас увидим, что значит такое оправдание. Так вот, видно, чем бы все это обернулось для Христа, *если бы он не был Богом*, то есть если бы он не внес в жизнь иных, *внеположных ей*, оснований. Жизнь *неисцелима* изнутри себя, если нет Бога. Если нет Бога, то действительно, «сострадание — все христианство», и это значит, что христианства нет.

Ибо если сказать Настасье Филипповне, что «она не виновата», то есть — права, то последним шагом на этом пути и будет Клеопатра, та, пушкинская, при взгляде на которую Достоевскому становилось ясно, «к каким людям приходил наш Божественный Искупитель» (19; 137). Оправдание греха прерывает окончательно связь с Господом, оставляя человека внутри *природных, естественных* мер. И тогда начинают править «законы природы», о которых столько говорит Ипполит, а это значит, что уже «смерть, а не Христос царствует над миром». Человеку не дано без отчаяния вернуться в ту природную гармонию, где «даже эта крошечная мушка <...> участница» (8; 343), он, «выкидыш» на этом пиру, и не важно,

какой срок ему отмерен. «Две недели» Ипполита принципиально не отличаются от двух десятилетий, краткость срока лишь обостряет восприятие того, о чем человек, решившийся погрузиться в гармонию природы и естественности, старается забыть и не вспоминать.

«Реабилитация» князя обрекает Настасью Филипповну на участь Клеопатры, о чем свидетельствует и фраза, после которой она бежит под нож Рогожина — единственное, что теперь может вывести ее за пределы земного окоема: «„За такую княгиню я бы душу продал!“ <...> „Ценою жизни ночь мою!...”» (8; 492). Ипполита же эта остановленность жизни в пределах жизни земной обрекает на преступление — ибо это единственное дело, которое он еще может успеть закончить, и благодаря которому память его сохранится, а память земная, в отсутствие бессмертия, становится высшей ценностью для личности.

В образе Ипполита начинает просвечивать проблематика другого произведения Пушкина — «Моцарта и Сальери». Интересно, что о картине «Мертвый Христос» Достоевский впервые узнает из книги П. М. Карамзина «Письма русского путешественника». Оттуда же Пушкин извлекает анекдот о Микеланджело, убившем натурщика, чтобы писать с него Христа. Как все помнят, сомнением Сальери относительно истинности этого анекдота и заканчивается трагедия.

Доказать, что Христа нельзя писать ни с утопленника, ни с мертвого натурщика, можно лишь путем эксперимента, поставленного Достоевским: что выйдет у «вполне прекрасного человека», решившего (или рассчитывающего) на рай на земле, если он не Бог. Не итоги, но каждый момент бытия «идеального человека» и Бога оказываются глубоко различны. Из «Христа вне истины», то есть из Христа без бессмертия, без Богосыновства не может выйти «восемнадцать веков христианства» (21; 76). Мало того, только если Христос есть Истина, то есть Бог, *нельзя убивать* натурщика для того, чтобы Его изобразить. Ибо если нет бессмертия, то получают силу высказывания типа: «Жизнь коротка, искусство вечно». Если Христос вне истины, то во имя создания его образа в искусстве *можно* пожертвовать натурщиком. В сущности, ради этого *можно* пожертвовать и Христом. Вся традиция «реалистического» (то есть — натуралистического) изображения крестных мук и снятия с креста в западно-европейской живописи и есть такая жертва. За всеми изображениями «Торжества Смерти» звучат слова Сальери: «Что пользы в нем? Как некий херувим, он несколько занес нам песен райских, чтоб, возмутив бескрылое желанье в нас, чадах праха, после улететь! Так улетай же! чем скорей, тем лучше».

Написав роман «Идиот», Достоевский получил настоящий ответ. Теперь для него было художественно доказано, что «быть со Христом» и быть «горстью праха» — две вещи несовместные.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Тихомиров Б. Н.* О «христологии» Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 1994. Т. 11. С. 102.

² *Львов Ф. Н. М. В. Буташевич-Петрашевский.* Заметки о деле петрашевцев. // Первые русские социалисты. Сб. материалов. Л., 1984. С. 58 (в ориг. вопрос Достоевского и ответ Спешнева (см. след. примеч.) — по-франц.: «Nous serons avec le Christ». — «Un peu de poussière»).

³ Там же.

⁴ *Столяров А.* Был ли у Достоевского свой особый «символ веры»? // Новая Европа. 1996. № 9. С. 80–81.